



---

Из книги  
«Очередь за счастьем»

---





## ОТЕЦ

— Ой, Лариса, ну почему ты так чудно ходишь? Носки врозь и переваливаешься, как утка? Тебя издалека узнать можно. — Сколько раз я это слышала!

Да, как хочу, так и хожу. У меня походка папина. Я вообще вся в него — и походка, и характер, и улыбка. И очень этому рада, ничего исправлять не собираюсь. Потому что папка мой был обыкновенным замечательным человеком. Его нет уже очень давно — 33 года. За эти годы в моей жизни произошло столько всего — и радостного, и страшного. Недавние утраты еще очень больно жгут сердце. А память об отце уже где-то очень глубоко, на доньшке души. И вспоминаю о нем без боли — грустно-весело.

В 1920 году в украинском местечке Вчерайше, в огромной — сестер-братьев не сосчитать — семье, родился мальчик Айзик — мой отец. У Рубальских было много Айзиков и Базиков. Почему-то всех почти родившихся мальчишек так называли их родители. Выглянет, бывало, какая-нибудь мама в

окошко, зовет домой сыночка: «Айзик!» И сразу человек пять бегут на ее оклик.

Или соберутся вечером и о Базике разговор заведут. А о каком из них, сразу и непонятно.

Мне мои дядьки достались уже Алексеями, Борисами, Ленями — все поменяли свои еврейские имена, такое было время. И я появилась на свет уже Ларисой Алексеевной.

В 1941 году отец ушел на войну, готовил к вылету военные самолеты в летном отряде в Паневежисе.

А когда вернулся домой, увидел пепелище от сожженной хаты, холм братской могилы в лесу, где остались расстрелянные немцами его мать, отец, две сестры и еще много родных людей. От оставшихся в живых он услышал страшный рассказ о том, как вели евреев в лес, воткнув им в спины острия штыков, как гроыхали выстрелы и как потом еще несколько дней как живой дышал холм над телами убитых и, может быть, заживо погребенных.

1944 год — отец в Москве, курсант Военно-воздушной академии им. Жуковского. С друзьями-летчиками пошли на танцы, а там мама моя с подружкой — Алька с Тamarкой, во все глаза на летчиков пялятся. Понравился Алексей Тamarке, а ему как раз Алечка приглянулась — мама моя. Ну и в сентябре на свет появилась я — папкина копия, доченька его любимая. И я любила его больше всех на свете.

В академии отец проучился недолго — евреи там были нежелательны. И покатила его штатская

жизнь, полная послевоенных трудностей. Так многие тогда жили-выживали. Папка не умел озлобляться, завидовать, жаловаться. Работал где мог, зарабатывал сколько мог. Мы с братом Валеркой росли и горя не знали, в смысле жилось нам хорошо у хороших родителей.

Сейчас модно докапываться до корней — люди ищут-надеются — а не князя ли, не дворяне ли их предки?

А мне докапываться не надо. Я точно знаю, из каких я — из добродушных, верных, честных обыкновенных людей.

Да, много времени прошло. Воспоминания об отце — нехитрая мозаика из разноцветных стеклышек. Уж и не знаю, каким получится составленный мной узор. Вспоминаю, стеклышки перекладываю — то оранжевое радостное под руку попадет, то нежное голубое, то страшное черное...

Мне лет 14—15. Возраст любви. Вот и Лолита Торрес о том же на всех афишах — Каимбро, мой солнечный город...

У меня косы до лопаток, на концах локоны. Волосы вьются, как у папки.

Потом, много лет спустя, после моего выступления в Израиле ко мне подошла старушка и со слезами в голосе сказала: а я с вашим папой в одном классе училась. Он у нас самый кудрявый был. Его так и называли — Айзик Пушкин. Так что я не удивляюсь, что вы стихи пишете.

Ну вот, значит, косички мои вьющиеся мне надоели — выгляжу как ребенок. А одноклассник мой, смысл моей четырнадцатилетней жизни, глаза пялит на стриженую подружку. И я решила — чтобы его отбить, и мне постричься надо. Пошла в парикмахерскую и — чик-чик-чик — косички вьются на полу. А у меня кудряшки вокруг головы и челочка — красота! Мы на другой день как раз с классом в поход собирались, и я предчувствовала победу над подружкой.

Вечером папа пришел с работы и увидел меня. Не говоря ни слова, он подошел и как треснет подзатыльник. А ручища у него была будь здоров! Он штангой занимался, гири на цепях вокруг тела крутил. Я от боли и страха даже не заплакала. Замерла. А отец вышел из комнаты и повернул с той стороны ключ в двери.

Вот тут я взвыла: «Папа, открой! Мне собираться надо. Завтра мы в поход идем». Вою, а он за дверью молчит.

Слышу — звонок — подружки мои пришли. «Здрасьте, дядь Леш, а где Лариса? Мы в поход собираемся, надо рюкзаки складывать».

А папа им в ответ: «А Лариса теперь в поход пойдет тогда, когда новые косы вырастут». Так и не пустил, представляете?

— Ларуся, — так папа меня звал, даже когда сердился. — Ларуся, почему ты все время вещи разбираешь? Неряха ты. Нехорошо же. Вот вырастешь, замуж выйдешь — грязью зарастешь.

Папы нет уже больше тридцати лет. А я всегда, когда навожу порядок, подметаю, пыль вытираю, всегда одну и ту же думку думаю — вот, папка, и ошибся ты. Очень даже аккуратная твоя дочка получилась. Жалко, ты не видишь.

Я выучила японский язык и работаю с японской группой. Первая поездка в качестве гида-переводчица. Папа гордится. А в России такое время, что дефицит всего, и японцы это знают. Когда их путешествие закончилось, они оставили мне все, что им не пригодилось, — начатый пузырек жидкости для снятия лака, ленточку скрепленных между собой одноразовых пакетиков со стиральным порошком и замечательной красоты радужную полосатую расчесочку. Все это богатство я гордо принесла домой — невидаль! Надписи иероглифами.

Наутро все мои сокровища куда-то исчезли. Я искала, мама искала — пропало, и все.

Вечером папа возвращается с работы расстроенный и какой-то растерянный:

— Ларусь, а чего это тебе твои японцы надавали?

Я ему пересказываю, и он начинает смеяться так, что и мне становится смешно:

— Пап, ты что?

Оказывается, он жидкость эту и пакетики принес к себе на работу и сотрудницам раздарил. Вот, мол, вам — японский одеколон и сахар к чаю. Они все и подушились, и чайку попили. С мыльной пеной. Кофточки-то испортили, хорошо хоть не отравились.



— Папуль, а расческу-то полосатую куда дел?

— Какую расческу? Не знаю. Я не видел. Вот правда, расческу никакую не видел.

Разгадка появилась через неделю в виде письма от моей подружки Таньки, которая жила в украинском селе. Там, у единственной оставшейся в живых папиной сестры, тети Сони, мы с братом проводили свои летние каникулы. Танька в письме благодарила меня за красивый полосатый «гребушок», который дядя Леша ей от меня бандеролью прислал.

А папа несколько не смутился, даже оправдываться не стал.

— Подумаешь, Ларуся, тебе же японцы еще сто таких подарят. А у Таньки-то такого не было и не будет. В жизни, доченька, надо быть подельчивой. — Я навсегда эти его слова запомнила.

Так с ними и живу. Спросите, кого хотите.

Я — пионерка. «Как повяжешь галстук, береги его...» А мне-то особенно и беречь не надо, у нас с братом Валеркой этих галстуков завались — штук пять уже набралось.

50-е годы — еще многие ветераны, герои войны, живы. А у нас свой аж дважды Герой — дядя Гриша. Григорий Михайлович Мыльников — летчик, папин друг. Всю войну прошел, ранен в голову. У него во лбу вместо кости платиновая пластина. На лацкане пиджака — две золотые звездочки. На родине памятник — бюст. И такая же копия у него дома, в квартире. Дядя Гриша, когда домой приходит, шля-

пу снимает и на голову бюсту этому надевает. Очень удобно.

Дядя Гриша выпивает. Часто. Лучшая для него компания — Давыдыч. Тот есть Лешка. То есть мой папа. Выпьют и давай войну вспоминать.

А в школе у нас мода — на пионерские сборы приглашать героев войны и их воспоминания слушать. Ну вот мой дядя Гриша и ходит к нам в школу на все эти сборы. И каждый раз его принимают в почетные пионеры. И повязывают новый пионерский галстук. А он их все отдавал нам, поэтому их у нас и было завались.

Я почти не помню отца без его закадычного Гришки. А когда отца не стало, мы собрались на 40-й день его помянуть. И дядя Гриша сказал удивительный тост. А на другой день он умер. И папе, и ему не было и 60 лет.

Эх, война, война...

Мне тридцать лет, а я не замужем. Вся семья переживает, папка особенно. И вдруг стараниями друзей возникает Давид — высоченный, умный — стоматолог. А я а) не люблю высоких, б) хочу в мужа какого-нибудь писателя или поэта. Ну, в крайнем случае артиста или режиссера. А тут — стоматолог какой-то.

А папа мне однажды такое сказал: «Не хорош, говоришь? А всех хороших уже по хорошим разобрали. А тебе досталось, что осталось. Так что радуйся, ведь ты уже на финишной прямой».

Умница папочка. Умней меня в тыщу раз. Разглядел ты в будущем зяте и ум, и порядочность, и надежность, и мое будущее многолетнее счастье. И оказался прав. Спасибо, папка.

Что-то папа мой, когда идет, все время останавливается и дышит тяжело.

— Пап, ты что? Сердечко болит?

— Нет, Ларусь, все нормально.

Летом мы с Давидом и друзьями поехали отдыхать в Литву — палатки в лесу натянули, грибы-ягоды собирать, рыбу ловить будем целый август.

Мама с папой тоже в отпуске — в Одессу, на море, с друзьями. Пока-пока!!!!

Телефонов мобильных еще в помине не было. Недалеко от нашего палаточного городка жил лесник, у него в домике был телефон. И я, как приехала, позвонила в Москву брату и его жене Лере — все нормально, доехали. Передайте родителям, чтоб не волновались. И телефон этот на всякий случай запишите.

Грибов в тот год было видимо-невидимо. Мы бродили по лесу, день солнечный, кайф. И вдруг меня как будто сила какая-то как кинет на землю, и прижимает сильно-сильно. Все бегут ко мне — что случилось? Тебе плохо?

— Да нет, вроде все нормально.

— А почему упала?

— Сама не знаю.

— Ну ладно, вставай. Обедать пора, — Давид всегда любил дисциплину, — половина второго уже. Пошли к палаткам.

Сидим, болтаем, поедаем свои продовольственные запасы. И вдруг я вижу — к нам лесник идет. У меня в глазах потемнело.

— Давид, вон лесник идет, чтоб сообщить, что мой папа умер.

Это было так. Мама позвонила Валере и Лере и сказала, что в половине второго отец вышел из моря и упал. Мгновенная смерть. Сердце. Ему было 59 лет. Лера набрала номер лесника, чтоб передать мне это страшное известие.

Вот и все. Я никакой не экстрасенс. И ни во что не верю. Просто мы с папой очень любили друг друга. И в миг смерти он обо мне подумал. И я услышала. Я же на него похожа. И хожу вразвалочку.

Алексея Давидовича Рубальского, моего отца, любили все. Весь дом. Все, кто его знал. А о том, что я стихи пишу и меня по телику показывают, папка так и не узнал...

